



РАФАЭЛЬ АЙРАПЕТЯН

Декан факультета журналистики Российско-Армянского (Славянского) государственного университета, кандидат филологических наук

ПИСАТЕЛЬ Ф. ДОСТОЕВСКИЙ О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

После выхода февральской книжки «Дневника писателя. 1876 г.» появилось множество откликов на статьи писателя, посвященные делу Кронеберга. Газеты же время от времени продолжали пестрить отчетами о судебных процессах над родителями, истязавшими своих детей. И Достоевский в статье «Дело родителей Джунковских с родными детьми», помещенной в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя за 1877 год», вновь обращается к проблеме «случайных» семей и объясняет, «что такое эта случайность», что он «под этим словом подразумевает». На этот раз внимание Достоевского привлекло опубликованное в газете «Новое время» сообщение о деле Джунковских; в своей статье писатель использовал именно этот газетный вариант отчета о судебном процессе. Более всего Достоевского поразила в указанном судебном деле «чрезвычайная обыкновенность, обыденность его». [1]

Опять бездушное отношение родителей к своим детям, издевательство над ними, словом, всё та же дикость, которая царила в семье Кронеберга. По мнению писателя, «именно таких русских семейств необыкновенное теперь множество» (XXV, 181). Эту же мысль затем выскажет в «Братьях Карамазовых» прокурор, назвав сумасбродного Федора Павловича одним из «современных отцов»: «Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов?..» (XV, 126).

В статье «Дело родителей Джунковских с родными детьми» Достоевский вспоминает, как адвокат Кронеберга, пытаясь оправдать своего клиента, рьяно доказывал суду и присяжным, что к Кронебергу невозможно применить ни одну из статей о жестоком обращении с детьми «Уложения о наказаниях». «И, помню, эти определения жестоких истязаний были до того жестоки, что решительно похожи были на истязания болгар башибузуками, и если не сажание на кол и ремни из спины, то разломанные ребра, руки, ноги и не знаю ещё что, так что какая-нибудь ременная плётка... решительно не может подойти к статье свода законов и составить пункт обвинения. «Секли, дескать, розгой». Да кто ж не сечет детей розгой? девять десятых России сечет. Под уголовный-то закон уже никак нельзя подвести» (XXV, 183-184).

Певольно приходит на память глава из «Записок из Мёртвого дома», в которой автор, рассказывая о наказаниях на каторге, приводит слова арестантов: «Розги садче, – говорили они, – муки больше» (IV, 154).

Розги розгами, но куда важнее наблюдения Достоевского за палачами и экзекуторами. Так, поручик Жеребятников любил экзекуцию «страстно» «и любил единственно для искусства» (IV, 148). Вот ведут арестанта сквозь строй, а Жеребятников кричит: «... Жги его! Лупи, лупи! Обжигай! Ещё ему, ещё ему! крепче...» (IV, 149).

Но и это не всё... Писатель приходит к потрясающему выводу: «Свойства палача в зародыше

находятся почти в каждом современном человеке» (IV, 155).

Джунковских так же, как и Кронеберга, оправдали, но писатель находит достойным внимания не сам факт оправдания, «а то, что их предали под суд и судили» (XXV, 183). А за год до этого в статье «Суд и г-жа Каирова» писатель с большим сожалением говорил о том, что Каирову, оправдав, отпустили. Вот если бы её могли отпустить без оправдательного приговора... Достоевский, как истинный последователь христианского учения, считает прощение необходимым условием продолжения жизни, примирения с жизнью, ибо в терпимости кроется самая созидательная сила. Ещё в статье «Среда» («Дневник писателя. 1873») Достоевский писал о «чисто» русской идее, идее русского народа называть «преступления несчастием, преступников – "несчастливыми"». Русский человек пожалеет даже преступника, в ком совесть не пробудилась. «Народ пожалест и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника!» (XXI, 18).

Достоевский к полсеудимой Каировой также относится с жалостью (хотя та и пыталась зарезать закопную жепу своего любовника), иначе не стал бы он писать о ней с таким сокрушением: «... и – столько её таскали, таскали, таскали, и при этом эта бедная тяжкая преступница, вполне виновная...» (XXIII, 8). Вместе с тем, по мнению Достоевского, Каирова и после оправдания должна помнить, что она «вполне виновная» и отпустили её из жалости или из каких-то гуманных соображений.

И не случайно, конечно, что сразу за статьей «Дело родителей Джунковских с родными детьми» писатель помещает в «Дневнике» статью под названием «Фантастическая речь председателя суда», которая с самого начала поражает множеством назиданий и поучений: «Подсудимые, вы оправданы, но вспомните, что кроме этого суда есть другой

суд – суд собственной вашей совести. Сделайте же так, чтоб и этот суд оправдал вас, хотя бы впоследствии» (XXV, 188).

Обратимся снова к статьям, которые предшествуют «Фантастической речи председателя суда», и попытаемся понять (как сказал бы великий поэт), «откуда, как разлад возник?»¹.

Итак, приведем суждения Достоевского о причинах возникновения случайных семейств, о дисгармонии отношений в этих семьях. Писатель считает, что весь этот хаос возник ввиду отсутствия «общей идеи, в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь» (XXV, 178). При этом общая идея может быть даже ошибочной и не выдержать испытания временем, но она будет полезной, ибо может стать началом «нравственного порядка».

В самом начале «Записной тетради 1875-76 гг.» писатель пишет: «Если не религия, но хоть то, что заменяет ее на миг в человеке. Вспомните Дидро, Вольтера, их век и их веру... О, какая это была страстная вера. У нас ничего не верят, у нас *tabula rasa*. Ну хоть в Большую Медведицу, вы смеетесь, – я хотел сказать, хоть в какую-нибудь великую мысль.» (XXIV, 67).

И более всего беспокоит писателя, как бы пустота интересов и стремлений в России (*tabula rasa*) не воплотилась очередной модной, витающей идеей с Запада. При этом Достоевский считает, что уж лучше даже коммунистические идеи (как во Франции), чем отсутствие какой бы то ни было идеи вообще.

А пока что, продолжает свою мысль писатель о случайных семьях, или «сплошное отрицание прежнего», или «попытка сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько голов столько умов, – попытки, раздробившиеся на единицы и лица, без опыта, без практики, даже без полной ве-

моя воля, чтоб не иметь воли, ибо идеал прекрасен.

В чем идеал?

Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я – и отдать это все самовольно для всех» (XX, 192).

Достоевский вернется к этой теме еще не один раз. Через 12 лет в «Дневнике писателя за 1876 год» в главе «Обособление» писатель поражается тому, с какой легкостью его современники уединяются и копаются в своих мыслях. И лишь в этом находят утешение. «Между тем ни в чем почти нет нравственного соглашения: все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы. И главное, иногда даже с самым легким и довольным видом» (XXII, 80). Именно поэтому Достоевский в каждом своем произведении пытается собрать воедино осколки разных мирозерцаний. Одни обособились – и в одиночестве ждут каких-то перемен. Другие начинают бурную деятельность, отбывая прошлое. В качестве примера Достоевский приводит современного литератора-нигилиста, который «после долгих передраг... обрел в сердце своем вдруг религиозное чувство» (XXII, 80). Литератор не знает Пушкина и Тургенева, «вряд ли читал и своих» (Белинского и Добролюбова), но пытается создать в своих произведениях новые образы, «и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых...» (XX, 80). Разумеется, его герои ничуть не естественны и не понятны читателю.

Литератор-нигилист же, став верующим, обходит православную веру и придумывает свою, опять-таки христианскую, но все же свою. Веками религия объединяла людей, ныне же различного рода ответвления христианства могут стать причиной раздора. И какая участь постигает бывшего нигилиста? Он бросает свою семью, родину, бежит в Америку проповедовать свою религию.

Подобное обособление не может не привести к разладу в семьях и, конечно, в первую очередь – в дворянских.

В подготовительных материалах к роману «Подросток» выделена запись под заголовком «Главное», приведем её начало: «Во всем идея разложения, ибо всё врость и никаких не остается связей не только в русском семействе, но даже просто между людьми. Даже дети врость» (XVI, 16). Писатель также неоднократно повторяет в подготовительных материалах к роману «Подросток» и мысль об отсутствии общей, великой идеи в России вообще: «Нет у нас в России ни одной руководящей идеи. Пример: роль дворянства, принцип потерян, отвлеченная идея на воздушных, на кончике иголки, не удержится» (XVI, 44). «А во всем: отсутствие и потеря общей идеи (в это царствование от реформ). Все врость» (XVI, 50).

Эти первоначальные штрихи к «Подростку» по своей идейной насыщенности напоминают заключительные строки романа, которые воспринимаются читателем как резюме: «... не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно родовых, семейств русских с неудержимою силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе. Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да, Аркадий Макарович, вы – член случайного семейства, в противоположность ещё недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших детство и отрочество» (XIII, 455). И сей краткий вывод в «Подростке» принадлежит совсем стороннему человеку, лицу незначительному. Да и сам вывод общеизвестный и обыденный (так по крайней мере преподносит Достоевский), однако именно он становится рефреном в «Братьях Карамазовых» и в целом ряде статей и записных тетрадей.

И тем не менее главный герой романа «Подросток» в поисках руководящей нити «поведения» (XVI, 51) готов пойти за Макаром Долгоруким (отцом де-юре) и Версиловым (отцом де-факто).

Именно встреча с Макаром Долгоруким помогает Подростку почувствовать под ногами прочную почву, понять губительность идеи Ротшильда; хотя в речах Макара Ивановича также не было «общей идеи», но под их влиянием происходит нравственное прозрение Подростка. Сын крестьянки и дворянина остается с народом, освобождаясь от гнета абсурдных мечтаний, немых планов и оскорбленного самолюбия, ставшего немым укором и напоминанием о его мнимой ущербности. Подросток, зная, что никогда не пойдет странствовать с Макаром Ивановичем, в бреду, в лихорадке шепчет: «Я вам рад. Я, может быть, вас давно ожидал. Я их никого не люблю: у них нет благообразия... Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду...» (XIII, 291). Прозрение Аркадия заключается не в том, пойдет ли он за Макаром Долгоруким, а в его попытке найти благообразие, различить добро от зла. Напомним, что сразу после смерти старика Аркадий то же самое говорит Версилову.

Мне теперь не нужно мечтать и грезить, мне теперь довольно и вас! Я пойду за вами! – проговорил я, отдаваясь ему всей душой (курсив мой, – А.Р.) (XIII, 373).

Обратимся снова к статье «Дело родителей Джунковских с родными детьми» (курсив мой, – А.Р.). Писатель выносит словосочетание «с родными детьми» в заголовок статьи – и оно становится ещё одним напоминанием о безмерной жестокости, скорее даже – жестокости бессмысленной.³

Так, Джунковские к Николаю, Александру и Ольге относились совсем иначе, чем к другим своим детям; наказывали их за малейшие шалости

– избивали кулаками, секли розгами и плетью, надолго запирали в сортире или в холодной комнате (отметим, что Ольга страдала падучей болезнью). Иногда детей наказывали и без какой-либо причины. В судебном отчете говорилось также о плохом содержании детей: спали на первом этаже на полу (на войлоке и грязных подушках), питались с прислугой, одевались как попало, порою даже ходили босиком. Дети претерпевали лишения и унижения постоянно, но по вечерам и вонсе становилось невмоготу: им приходилось более часа чесать пятки матери, пока та не засыпала (раньше чесанием пяток занималась прислуга, но вскоре эта унижительная обязанность была возложена на детей, потому что прислуга отказалась от этого нудного занятия: руки немели.

Это уже не наивно-услужливое щелбание Настасьи Петровны коробочки: «... Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал».[3]

Джунковские могли наказывать детей даже за добрые поступки. Так, Александра однажды беспощадно высекли только за то, «что он из кухни принес сестре Ольге картофелю для завтрака» (после экзекуции его спина болела целых пять дней). Подсудимые пытались доказать суду, что их дети неисправимы: несмотря на усилия родителей, учителей и гувернанток, они не становились лучше. В доказательство отец рассказал о кощунственном случае...: когда умерла его старшая дочь Екатерина, то Николай и Александр нарезали прутьев и били мертвую сестру по лицу (она лежала на столе в гробу), при этом мальчики приговаривали: «Теперь-то нагешимся над тобою за то, что ты на нас жаловалась» (XXV, 183).

По свидетельству Шишовой, проработавшей в доме подсудимых гувернанткой, Джунковская отличалась особой эгоистичностью, не проявляла каких-либо материнских чувств и желала только

покою, «чтобы её ничто не беспокоило». Во всем доме царил небрежение, хотя супруги и были в постоянных хлопотах.

Таков краткий судебный отчет о деле Джунковских, который писатель перепечатал из «Нового времени».

Подсудимых, конечно, оправдали, однако это и не столь существенно; куда важнее родителям задуматься, как искоренить лепость и безразличие, порождающие нелюбовь к детям, «почти ненависть, почти чувство личной какой-то мести к ним» (XXV, 188). В «Фантастической речи председателя суда» воспитание детей писатель считает высшей гражданской обязанностью. Джунковские же, наняв учителей, пытались забыть о столь высоком предназначении («откупились от долга и от обязанности родительской деньгами»).

Достоевский, зная о неудаче, которая может постигнуть на практике любое педагогическое учение (да и сколько их было, прекрасных, но неисполнимых теорий!), пишет: «Наука наукой, а отец перед детьми всегда должен быть как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как теплым лучом всё посеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый. Но, кажется, ничего не посеяв сами и слав их чуждому семье вашей сеятелю, – вы потребовали уже жатвы и, непривычные к этому делу, потребовали этой жатвы слишком рано; не получив же её, озлобились и ожесточились... на малюток, на собственных детей ваших, и тоже рано, слишком рано!» (XXV, 189 – 190).

Итак, вместо терпеливого впускания добрых чувств, вместо любви, ленивые отцы применяют розгу, в результате хитрый ребенок покорится, но родителей обманет; ребенка слабого – непременно забьют; «ребенка доброго, простодушного»

потеряют навсегда, потеряют его сердце.

В воспоминаниях А.Г. Достоевской с особой задушевностью повествуется о том, каким «печнейшим отцом» был Федор Михайлович, как после купания ребенка «сам завертывал её в покойное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал её на руках и, бросая свои заботы, спешил к ней, чуть только заслышит её голосок».[4]

Отцовство Достоевского началось задолго до рождения дочери; Анну Григорьевну поражала та исключительная внимательность, с которой Достоевский относился к «болезненному состоянию» своей супруги. Акушерка, под наблюдением которой находилась Анна Григорьевна до родов, жила на одной из крутых улиц Женевы, недоступных для экипажей, и Федор Михайлович, «не надеясь на свою зрительную память», каждый день, в течение трех месяцев, ходил на эту улицу, чтобы даже в ночное время, если потребует срочная помощь, быстро разыскать акушерку и привезти к роженице.

В своих статьях, посвященных извечной теме отцов и детей, писатель избегает отвлеченных суждений, его выводы поразительно точны, он не ссылается на известные педагогические теории и авторитеты (как часто персонажи художественных произведений Достоевского проводят аналогию между своей и чужой жизнью, как правило, жизнью героев шедевров мировой классической литературы). Достоевский словно хочет убедить нас в том, что любая теория относительна (тем более педагогические учения), «живая жизнь» многогранна; и писатель прибегает к испытанному методу: только вместо целого ряда пояснений повествователя (так часто встречающегося в художественных полотнах писателя), вводится фантастическая речь председателя суда, публикацию которой писатель объясняет весьма просто...

В судах при вынесении оправдательного приговора, особенно если отпускают подсудимого «лишь милосердием суда», председатель суда, как правило, объясняет подсудимому, какие выводы ему следует сделать из всего этого, «как избежать в дальнейшем повторения беды», и дает ряд других поучающих указаний. Быть может, подсудимым Джушковским оправдательный приговор был зачитан «без всякого особого, в таком роде, впуска», и поэтому писатель мысленно пытается представить, «что мог бы им сказать председатель суда, отпуская их» (XXV, 188). Речь председателя стала небольшим научным сочинением на педагогическую тему; вся статья, как указывалось выше, изобилует прямолинейными наставлениями, в результате чего страдает образность, присущая всей публицистике писателя.

Достоевский уверен, что тот позор и унижения, которые во время судебных слушаний выпадают на долю подсудимых, заставят их оглянуться на своё безалаберное и бездумное существование. Сам процесс станет тем «громом», который воскресил в Дмитрие Карамазове «нового человека», а в этих «ленивых эгоистах» воскресит родительские чувства.

В своей речи председатель суда призывает к обоюдному прощению, а главное, родители должны простить не детские шалости и непокорность, а

свой «эгоизм», «презрение к ним», «извращение чувств» своих к детям и то, что судились с родными детьми. Таким образом, Достоевский во всей этой истории полностью исключает вину детей, предлагает Джушковским винить только себя, и лишь в подобном случае можно говорить об их раскаянии.

Конечно, Достоевский не может просто уповать на увещания (даже если они исходят от председателя суда): не в каждом воскреснет «человек» и не каждый способен вынести муки воскресения, тем не менее плакатная манера письма сохраняется до заключительных строк статьи, которая заканчивается броскими призывами: искать любовь, ибо «любовь столь всемогуща, что перерождает и нас самих».

«Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станет тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель паш обещал нам «сократить времена и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей!»

А теперь ступайте, вы оправданы...» (XXV, 193).

¹ «Откуда, как разлад возник?» – строка из стихотворения Ф.И.Тютчева «Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках».

² О феномене отцовства всерьез заговорили лишь в XX веке, однако о значении отцовского и семейного воспитания в формировании личности ребенка писал ещё Шарль Фурье в «Воспитании при строе гармонии». Известно, с каким увлечением изучал Достоевский в молодые годы труды Фурье, хотя и относится критически ко многим положениям его учения. Так, в «Объяснениях и показаниях Ф.М.Достоевского по делу петрашевцев» мы можем прочитать: «Фурьеризм – система мирная; она очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему, и удивляет ум своею стройностью. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей (XVIII, 133). Немало страниц уделяет Фурье в вышеупомянутом труде и противоречиям воспитания при строе цивилизации. И как созвучны призывы Достоевского из «Фантастической речи председателя суда» идеям Фурье: «Любовью лишь купим сердца детей наших...» (XXV, 193). Или: «... и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей!» (XXV, 193). Конечно, понятие «цивилизация» у Достоевского приобретает более емкий смысл.

³ Для Достоевского “насилие”, “жестокость”, “несправедливость” – слова-синонимы. В повседневной жизни жестокость стала обычным явлением, тут уж не до пробудившейся совести. В ранней юности, в 1837 году, по пути в Петербург (отец писателя вез сыновей на учебу) Достоевский стал очевидцем неимоверной жестокости: на одной из станций он увидел, как фельдъегерь наносил со всего размаха удары в спину ямщика, который в свою очередь, не оборачиваясь, всюю хлестал лошадей. Через 40 лет в «Записях к “Дневнику писателя за 1876 год” из рабочих тетрадей 1875-1877 гг.» писатель неоднократно вспоминает этот эпизод. Так, в небольшой записи писатель дважды напоминает, что увиденное – не просто “картинка из воспоминаний, а символ, символ...” (XXIV, 122). При этом само слово “фельдъегерь” тоже стало символом – символом власти, пусть маленькой, но власти, “которой нельзя не подчиниться, иначе земля стоять не будет, иначе земля стоять не будет, и это все понимали” (XXIV, 127).

Писатель не находит какого-либо утешения: с тех пор мало что изменилось, а может и хуже стало: “И не посеется ли бесправица. Поклонение деньгам, носятся грубые идеи, уничтожающие веру. В пожар крестьяне отстаивают кабаки, а не церкви” (XXIV, 122).

Воистину этот эпизод с фельдъегерем стал знаковым явлением в творчестве писателя. Вспомним сон Раскольникова: в огромную телегу “впряжена была маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка” (VI, 46-47), и ее, падорвав шуюся, безбожно стегает пьяный Миколка.

Или же: атерина Ивановна перед смертью с надрывом выговаривает: “...Уездили клячу!.. Надорвала а-сь!” (VI, 334).

И через несколько дней в той же “Записной тетради” писатель напишет: “Марей. Он любит свою кобыленку и зовет ее кормилицей. Если же есть в нем минуты нетерпения и прорывается в нем татарин и начнет он хлестать свою завязшую в грязи с возом кормилицу кнутом по глазам, то вспомните про фельдъегеря, тут: воспитание, привычки, воспоминания, злосно вино...” (XXIV, 128). И так, даже лучшее воспоминание детства (о Марее), пронесенное через всю жизнь, – и то омрачено сценой жестокости. Быть может, еще задолго до ознакомления с музой Некрасова в сознании юного Достоевского заганная кляча олицетворяла бессмысленный произвол и жестокость, безмерное людское горе и народное долготерпение... Напомним, что стихи Некрасова “О погоде” (именно в них прозвучали строки: «“Ну!” – погонщик полено схватил (Показалось кнута сму мало) – И уж бил ее, бил ее, бил!.. И по плачущим, кротким глазам!») впервые были опубликованы в 1859 году.

В рукописной редакции “Преступления и наказания” есть запись:

“Бульвар. Девочка.

Мое первое личное оскорбление, лошадь, фельдъегерь.

Изнасилованное дитя.

И для чего живет эта вчерашняя старуха?

Математика.

Неужели несправедлива моя мысль.

Пришел домой: письмо от матери. Вышел из себя. С хозяйкой за суп” (VII, 138).

В этих нескольких предложениях писатель сумел наметить все те болевые пункты, пройдя через которые, Раскольников задумывается: “Неужели несправедлива моя мысль”. Пока это не вопрос и не сомнение, а озарение оскорбленного чувства, по крайней мере ему могло показаться озарением, ибо затем Достоевский добавляет: «Вот как это случилось. Услышал разговор Лизаветы. Тогда я спросил себя в ужасе: “Да неужели это не праздная идея, а настоящая была у меня в голове?”» (VII, 138). Безжалостная несправедливость... Одна, другая... Она не просто окружает Раскольникова, несправедливость подступает, не дает дышать, преследует во сне, принимая обличье пьяного Миколки, бессмысленно секущего клячонку по глазам. Именно бессмысленность жестокости людской более всего и терзала самого Достоевского. В то далекое время по пути в Петербург выходка фельдъегеря поразила будущего писателя не только жестокостью, но, может быть, даже в большей степени своей пьяной бессмысленностью. Жестокость, как хмель, вызывает буйство, омрачает разум.

В одной из первых глав возобновленного в 1876 году “Дневника писателя” Достоевский снова возвращается к событию сорокалетней давности и снова вспоминает эпизод с фельдъегерем.

Литература:

1. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 25. Л., «Наука», 1972-1990, с. 181. В дальнейшем ссылки на это издание будут приводиться в тексте книги с обозначением тома римской цифрой, а страницы – арабской.
2. Розенблюм Л.М. «Творческие дневники Достоевского», М., «Наука», 1981, с. 76.
3. Гоголь Н.В. Собр.соч. в 7-и томах. Т.5.М., «Художественная литература», 1978, с. 45.
4. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. М., «Художественная литература», 1964, с.65.